Гобсек

Автор:
Оноре Бальзак

Гобсек

Оноре де Бальзак

Человеческая комедия

«Гобсек» – сцены из частной жизни ростовщика, портрет делателя денег из денег.

Оноре де Бальзак

Гобсек

Барону Баршу де Пеноэн

Из всех бывших питомцев Вандомского колледжа, кажется, одни лишь мы с тобой избрали литературное поприще, – недаром же мы увлекались философией в том возрасте, когда нам полагалось увлекаться только страницами De viris.[1 - De viris illustribus (лат.) («О знаменитых мужах») – сочинение римского историка Корнелия Непота (I в. до н. э.).] Мы встретились с тобою вновь, когда я писал эту повесть, а ты трудился над прекрасными своими сочинениями о немецкой философии. Итак, мы оба не изменили своему призванию. Надеюсь, тебе столь же приятно будет увидеть здесь свое имя, как мне приятно поставить его.

Твой старый школьный товарищ

де Бальзак

Как-то раз зимою 1829/1830 года в салоне виконтессы де Гранлье до часу ночи засиделись два гостя, не принадлежавшие к ее родне. Один из них, красивый молодой человек, услышав бой каминных часов, поспешил откланяться. Когда во дворе застучали колеса его экипажа, виконтесса, видя, что остались только ее брат да друг семьи, заканчивавшие партию в пикет, подошла к дочери; девушка стояла у камина и как будто внимательно разглядывала сквозной узор на экране, но, несомненно, прислушивалась к шуму отъезжавшего кабриолета, что подтвердило опасения матери.

– Камилла, если ты и дальше будешь держать себя с графом де Ресто так же, как нынче вечером, мне придется отказать ему от дома. Послушайся меня, детка, если веришь нежной моей любви к тебе, позволь мне руководить тобою в жизни. В семнадцать лет девушка не может судить ни о прошлом, ни о будущем, ни о некоторых требованиях общества. Я укажу тебе только на одно обстоятельство: у господина де Ресто есть мать, женщина, способная проглотить миллионное состояние, особа низкого происхождения – в девичестве ее фамилия была Горио, и в молодости она вызвала много толков о себе. Она очень дурно относилась к своему отцу и, право, не заслуживает такого хорошего сына, как господин де Ресто. Молодой граф ее обожает и поддерживает с сыновней преданностью, достойной всяческих похвал. А как он заботится о своей сестре, о брате! Словом, поведение его просто превосходно, но, – добавила виконтесса с лукавым видом, – пока жива его мать, ни в одном порядочном семействе родители не отважатся доверить этому милому юноше будущность и приданое своей дочери.

– Я уловил несколько слов из вашего разговора с мадемуазель де Гранлье, и мне очень хочется вмешаться в него! – воскликнул вышеупомянутый друг семьи. – Я выиграл, граф, – сказал он, обращаясь к партнеру. – Оставляю вас и спешу на помощь вашей племяннице.

– Вот уж поистине слух настоящего стряпчего! – воскликнула виконтесса. – Дорогой Дервиль, как вы могли расслышать, что я говорила Камилле? Я шепталась с нею совсем тихонько.

– Я все понял по вашим глазам, – ответил Дервиль, усаживаясь у камина в глубокое кресло.

Дядя Камиллы сел рядом с племянницей, а госпожа де Гранлье устроилась в низеньком покойном кресле между дочерью и Дервилем.

– Пора мне, виконтесса, рассказать вам одну историю, которая заставит вас изменить ваш взгляд на положение в свете графа Эрнеста де Ресто.

– Историю?! – воскликнула Камилла, – Скорей рассказывайте, господин Дервиль.

Стряпчий бросил на госпожу де Гранлье взгляд, по которому она поняла, что рассказ этот будет для нее интересен. Виконтесса де Гранлье по богатству и знатности рода была одной из самых влиятельных дам в Сен-Жерменском предместье, и, конечно, может показаться удивительным, что какой-то парижский стряпчий решался говорить с нею так непринужденно и держать себя в ее салоне запросто, но объяснить это очень легко. Госпожа де Гранлье, возвратившись во Францию вместе с королевской семьей, поселилась в Париже и вначале жила только на вспомоществование, назначенное ей Людовиком XVIII из сумм цивильного листа, – положение для нее невыносимое. Стряпчий Дервиль случайно обнаружил формальные неправильности, допущенные в свое время Республикой при продаже особняка Гранлье, и заявил, что этот дом подлежит возвращению виконтессе. По ее поручению он повел процесс в суде и выиграл его. Осмелев от этого успеха, он затеял кляузную тяжбу с убежищем для престарелых и добился возвращения ей лесных угодий в Лиснэ. Затем он утвердил ее в правах собственности на несколько акций Орлеанского канала и довольно большие дома, которые император пожертвовал общественным учреждениям. Состояние госпожи де Гранлье, восстановленное благодаря ловкости молодого поверенного, стало давать ей около шестидесяти тысяч франков годового дохода, а тут подоспел закон о возмещении убытков эмигрантам, и она получила огромные деньги. Этот стряпчий, человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гранлье. Своим поведением в отношении госпожи де Гранлье он достиг почета и клиентуры в лучших домах Сен-Жерменского предместья, но не воспользовался их благоволением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец. Он даже отклонил предложение виконтессы, уговаривавшей его продать свою контору и перейти в судебное ведомство, где он мог бы при ее покровительстве чрезвычайно быстро сделать карьеру. За исключением дома госпожи де Гранлье, где он иногда проводил вечера, он бывал в свете лишь для поддержания связей. Он почитал себя счастливым, что, ревностно защищая интересы госпожи де Гранлье, показал и свое дарование, иначе его конторе грозила бы опасность захиреть, в нем не было пронырливости истого стряпчего.

С тех пор как граф Эрнест де Ресто появился в доме виконтессы, Дервиль, угадав симпатию Камиллы к этому юноше, стал завсегдатаем салона госпожи де Гранлье, словно щеголь с Шоссе д'Антен, только что получивший доступ в аристократическое общество Сен-Жерменского предместья. За несколько дней до описываемого вечера он встретил на балу мадемуазель де Гранлье и сказал ей, указывая глазами на графа:

– Жаль, что у этого юноши нет двух-трех миллионов! Правда?

– Почему жаль? Я не считаю это несчастьем, – ответила она. – Господин де Ресто – человек очень одаренный, образованный, на хорошем счету у министра, к которому он прикомандирован. Я нисколько не сомневаюсь, что из него выйдет выдающийся деятель. А когда «этот юноша» окажется у власти, богатство само придет к нему в руки.

– Да, но вот если б он уже сейчас был богат!

– Если б он был богат?.. – краснея, повторила Камилла. – Что ж, все танцующие здесь девицы оспаривали бы его друг у друга, – добавила она, указывая на участниц кадрили.

– И тогда, – заметил стряпчий, – мадемуазель де Гранлье не была бы единственным магнитом, притягивающим его взоры. Вы, кажется, покраснели, почему бы это? Вы к нему неравнодушны? Ну, скажите…

Камилла вспорхнула с кресла.

«Она влюблена в него», – подумал Дервиль.

С этого дня Камилла выказывала стряпчему особое внимание, поняв, что Дервиль одобряет ее склонность к Эрнесту де Ресто. А до тех пор, хотя ей и было известно, что ее семья многим обязана Дервилю, она питала к нему больше уважения, чем дружеской приязни, и в обращении ее с ним сквозило больше любезности, чем теплоты. В ее манерах и в тоне голоса было что-то, указывавшее на расстояние, установленное между ними светским этикетом. Признательность – это долг, который дети не очень охотно принимают по наследству от родителей.

Дервиль помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал так:

– Сегодняшний вечер напомнил мне об одной романической истории, единственной в моей жизни… Ну вот, вы уж и смеетесь, вам забавно слышать, что у стряпчего могут быть какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то двадцать пять лет, а в эти молодые годы я уже насмотрелся на многие удивительные дела. Мне придется сначала рассказать вам об одном действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать, – речь идет о некоем ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать лунным ликом, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и с сильной проседью – пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсу. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой: я никогда не мог понять, состарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные. Все в его комнате было потерто и опрятно, начиная от зеленого сукна на письменном столе до коврика перед кроватью, – совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимою в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размеренны, как движения маятника. Это был какой-то человек автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет; так же вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля, он берег жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала также бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мертвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди – человеческим сердцем. Если он бывал доволен истекшим днем, то потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок веселости, – право, невозможно изобразить иными словами его немую усмешку, игру лицевых

мускулов, выражавшую, вероятно, те же ощущения, что и беззвучный смех Кожаного Чулка. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на улице де-Грэ, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе стряпчего и студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном, сыром доме нет двора, все окна выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келий: все они одинаковой величины, в каждой единственная ее дверь выходит в длинный полутемный коридор с маленькими оконцами. Да, это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь светского повесы, еще раньше, чем он входил к моему соседу; дом и его жилец были под стать друг другу – совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырехлетнего соседства и моего примерного поведения, которое, по причине безденежья, во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные, друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких, сухопарых, как у оленя, ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной наполеондор каким-то образом выпал у него из жилетного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему.

– Это не моя! – воскликнул он, замахав рукой. – Золото! У меня? Да разве я стал бы так жить, будь я богат!

По утрам он сам себе варил кофе на железной печурке, стоявшей в закопченном углу камина; обед ему приносили из ресторации. Старуха-привратница в установленный час приходила прибирать его комнату. А фамилия у него по воле случая, который Стерн назвал бы предопределением, была весьма странная – Гобсек.[2 - Живоглот (фр.).] Позднее, когда он поручил мне вести его дела, я узнал, что ко времени моего с ним знакомства ему уже было почти семьдесят шесть лет. Он родился в 1740 году, в предместье Антверпена; мать у него была еврейка, отец – голландец, полное его имя было Жан-Эстер ван Гобсек. Вы, конечно, помните, как занимало весь Париж убийство женщины,

прозванной «Прекрасная Голландка». Как-то в разговоре с моим бывшим соседом я случайно упомянул об этом происшествии, и он сказал, не проявив при этом ни малейшего интереса или хотя бы удивления:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

De viris illustribus (лат.) («О знаменитых мужах») – сочинение римского историка Корнелия Непота (I в. до н. э.).

2

Живоглот (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/ru/onore-balzak/gobsek

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить